

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Ф. М. Достоевский
УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЕННЫЕ



Школьная библиотека (Детская литература)

Федор Достоевский

Униженные и оскорбленные

Издательство «Детская литература»

1861

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Достоевский Ф. М.

Униженные и оскорбленные / Ф. М. Достоевский — Издательство «Детская литература», 1861 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-004063-7

Роман о людях, которых «человеческое достоинство оскорблено» (Н. Добролюбов), но которым удастся с мужеством и честью выйти из трагической ситуации, не озлобившись, сохранив свою живую душу, свои высокие нравственные идеалы. В формате PDF А4 сохранен издательский дизайн.

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 5-08-004063-7

© Достоевский Ф. М., 1861
© Издательство «Детская
литература», 1861

Содержание

«...От удачи его зависит вся моя литературная карьера»	6
Часть первая	20
Глава I	21
Глава II	29
Глава III	31
Глава IV	33
Глава V	36
Глава VI	38
Глава VII	44
Глава VIII	47
Глава IX	53
Глава X	57
Глава XI	62
Глава XII	65
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Федор Михайлович Достоевский

Униженные и оскорбленные

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, комментарии, 2002

© П. Е. Фокин. Вступительная статья, 2002

© В. П. Панов. Рисунки, 1971

«...От удачи его зависит вся моя литературная карьера»

(Роман Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные»)

Достоевский – писатель драматичной судьбы.

Прежде чем его имя стало знаком высшей литературной пробы, ему пришлось пройти через все мыслимые и немыслимые испытания, которые включает в себе участь литератора: первый успех, слава, зависть коллег, интриги, разочарование публики, отлучение от профессии, забвение, триумфальное возвращение на Парнас, издание собственного журнала, идейная борьба, цензурные преследования, закрытие журнала и разорение, нужда, кабальные договоры с издателями, долги, непонимание и новое признание читателей, редактирование газеты, выпуск персонального периодического издания («моножурнала» «Дневник писателя»), благоклонное внимание царской семьи, всеобщая любовь, выплеснувшаяся многокилометровой прощальной процессией в день похорон.

Восемь больших романов.

Полтора десятка повестей и рассказов.

Сотни страниц публицистики и литературной критики¹.

И все это в течение каких-нибудь тридцати пяти лет! С 1846 по 1881 год.

А ведь это только одна сторона биографии. Были в жизни Достоевского и события совсем иного характера.

Было политическое преступление, «участие в заговоре», камера следственного заключения в Петропавловской крепости, смертный приговор, церемония казни, изменение приговора за несколько минут до расстрела, арестантский этап в кандалах на каторгу в Сибирь, четыре года острожной жизни среди уголовных преступников, солдатчина, помилование и возвращение в гражданскую жизнь.

Была любовь, страстная и мучительная. К женщине старшей по возрасту, замужней, матери мальчика-подростка. Любовь, завершившаяся недолгим браком. Безжалостная чахотка оборвала жизнь Марии Дмитриевны. Остался пасынок, требовавший ухода и воспитания.

Была страсть к молодой и своенравной Аполлинарии Суловой, Полине, обернувшаяся для Достоевского новой каторгой – каторгой чувств. Слишком разными оказались возлюбленные. С истерзанными душами и окровавленными сердцами они расстались, так и не обретя счастья.

Было игорное безумие, полонившее волю Достоевского на несколько лет. Рулетка, возможность за несколько часов невероятно разбогатеть, азарт, вызов судьбе, удача и невезение, проигрыши, долги.

Была еще одна любовь, ставшая наградой. Второй брак принес душевное спокойствие, семейное счастье, радости и тревоги отцовства. Анна Григорьевна – хорошая хозяйка и любящая мать, стала еще и верной помощницей в литературном труде. Владея навыками стенографии, она позволила Достоевскому усовершенствоваться и значительно ускорить процесс писания. Ее участие давало силы и вдохновение.

Были, наконец, болезни. Одна совсем особенная – эпилепсия, или «падучая», как ее называли в то время, с тяжелыми физически и духовно изматывающими приступами, всякий

¹ Академическое Полное собрание сочинений Достоевского, вышедшее в 1972–1990 годах, включает в себя тридцать томов (тридцать три книги: тома 28–30 в двух полутомах).

раз грозившими смертельным исходом. Она приходила неожиданно и на продолжительное время выбивала из колеи. Вспышка сознания, которой предварялся припадок, ощущение высшей гармонии и благодати обрывались мраком и конвульсиями. Точно вознесенный на небо, больной в мгновение ока низвергался в бездну преисподней. Почти каждый месяц, а то и чаще. С редкими более длительными перерывами.

Таких впечатлений хватило бы на несколько жизней.

Но все это суждено было пережить одному. В течение тридцати пяти лет!

Однако, как бы ни было тяжело, какие бы обстоятельства не сгущались вокруг Достоевского, он неизменно оставался верен своему писательскому призванию. Смело вводя в литературные произведения факты своей биографии, он как бы изживал обступавшие его напасти и беды. Вместе с героями проходил Достоевский крестный путь страданий и из каждого нового романа выходил обновленным и укрепленным. Писательство помогало вырваться из паутины неизбежности и заявить свою волю – волю свободного человека, ответственного перед Богом и бессмертной душой.

Каждая книга была борьбой.

И – победой.

«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла»², – признавался Достоевский в одном из писем, вспоминая былые несчастья.

В работе находил Достоевский спасение, обретал силу, одолевал судьбу.

Литературное призвание было сильнее обстоятельств, сильнее страстей и пороков, сильнее нужды и болезней.

Сильнее смерти.

В литературу Достоевскому пришлось вступать дважды.

Он с детства мечтал быть писателем. Чтение было любимым занятием, оно неизменно возбуждало фантазию, провоцировало появление собственных образов. Верным другом был старший брат – Михаил, который также видел себя литератором. Когда в 1837 году они по решению отца отправились из родной Москвы поступать в Инженерное училище в Петербург, юноши меньше всего думали о вступительных экзаменах. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии, – вспоминал Достоевский сорок лет спустя. – Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни»³.

Кумиром был Пушкин. «Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, стоваривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух»⁴. Чтобы оценить всю степень любви и восторженности мальчиков, стоит вспомнить, что два месяца спустя после гибели Пушкина его квартира еще не была, как сейчас, музеем, оставаясь частным владением, где жили люди, вовсе не собиравшиеся устраивать у себя дома мемориал. Но им было так важно – хотя бы в мечтах – прикоснуться к миру великого поэта, вдохнуть тот воздух, которым дышал он в последние часы своей земной жизни, и, может быть, в святом месте принять эстафету поэтического служения. Помнились строки: «Старик Держа-

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. Кн. II. С. 235.

³ Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Полн. собр. соч., 1982. Т. 22. С. 27.

⁴ Там же.

вин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Без преемственности не может существовать национальная литература, а в иных масштабах братья себя и не мыслили.

И позже, в училище, подчиняясь военному режиму учебного заведения, выстаивая фрунты, рисуя чертежи фортификационных сооружений, Достоевский находил часы для литературных мечтаний. «Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места, – вспоминал товарищ Достоевского по училищу, писатель Д. В. Григорович, – вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти, и всегда с книгой... Его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слышал, было для меня откровением»⁵.

Окончив в 1843 году училище, Достоевский поступает на службу в Главное инженерное управление, но все мысли его заняты литературными проектами. Он делится с братом планами, берется за переводы произведений французских писателей. В 1844 году он дебютирует в печати с переводом повести О. де Бальзака «Евгения Гранде» и тогда же приступает к работе над первым оригинальным сочинением – романом «Бедные люди». Одновременно подает рапорт об отставке. Несколько месяцев бумаги перемещаются по инстанциям, и вот долгожданный приказ: «Его Императорское Величество в присутствии Своем в Гатчине, октября 19 дня 1844 года соизволил отдать следующий приказ: Увольняется от службы по Инженерному корпусу по домашним обстоятельствам полевой инженер-подпоручик Достоевский поручиком»⁶.

19 октября.

В прославленную Пушкиным годовщину лицейского братства.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.

Все совпадения – случайны. Но на языке совпадений говорит Судьба.

Так Пушкин – «вдруг» (впоследствии самое распространенное слово в лексиконе Достоевского) – благословил начинающего литератора. И Достоевский со всем пылом юности принял его: герои первого романа Достоевского читают и обсуждают в письмах друг к другу «Станционного смотрителя».

Бедный чиновник Макар Деушкин, обращаясь к возлюбленной, Вареньке Доброселовой, в наивных выражениях, но с трогательной искренностью высказывает восторг и удивление: «Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз, хоть тресни, так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, – я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно – вот как!.. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И

⁵ Григорович Д. В. Из «Литературных воспоминаний» // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 200.

⁶ Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821–1881: В 3 т. Спб.: Академический проект, 1993. Т. 1. С. 93.

как ловко описано все!.. Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет!»⁷ За словами Девушкина стоит сам Достоевский. Так он понимает цель и призвание литературы, ее главный смысл: достоверность, правдивость, сострадание и любовь к ближнему – все, что включает в себя понятие христианского человеколюбия.

«Бедные люди» принесли Достоевскому небывалый успех. Роман был опубликован в альманахе «Петербургский сборник» в январе 1846 года. Множество споров и битв развернулось вокруг сочинения никому до того не известного автора. В поддержку Достоевского выступил Белинский, писавший: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»⁸

Такого триумфального дебюта русская литература еще не знала. История, которую предложил читателям Достоевский, вызвала горячий сердечный отклик. Григорович вспоминал, как впервые вместе с Некрасовым, тогда тоже еще только определявшим свое место в литературе, читал рукопись «Бедных людей». Принялись за чтение вечером и не могли оторваться, пока не дочитали до последней строчки, досидев так до ранней зари. «Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы»⁹.

Книгу читали и обсуждали повсюду: и в демократических низах, и в аристократических салонах. Газетный фельетонист сообщал: «На Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Излера, всенародно вывешено великолепно-картинное объявление о «Петербургском сборнике». На вершине сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста, красуются, спиною друг к другу, большие фигуры Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны Доброселовой, героя и героини романа г. Достоевского «Бедные люди». Один пишет на коленях, другая читает письма, услаждавшие их горести»¹⁰.

Разгоряченный успехом Достоевский не без лихости и некоторого самоупоения сообщал брату: «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубокий, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат!»¹¹

Если бы знал тогда Достоевский, что ждет его уже через два с половиной года...

«Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к 4-хлетним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты»¹² – эти строки из письма 1849 года описывают финал драмы, разыгравшейся с Достоевским в последовавшие после небывалого успеха «Бедных людей» годы.

Сначала было непонимание и разочарование ближайших товарищей. От него ждали продолжения в духе социальной критики, а он уже шел дальше, исследуя глубины человеческой психологии и сознания. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть

⁷ Достоевский Ф. М. Бедные люди // Полн. собр. соч., 1972. Т. 1. С. 59.

⁸ Белинский В. Г. Петербургский сборник // Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 8. С. 131.

⁹ Григорович Д. В. Указ. соч. С. 208.

¹⁰ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1972. Т. 1. С. 473.

¹¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 118.

¹² Там же. С. 161.

человеком»¹³ – так уже в 1839 году сформулировал Достоевский свое творческое кредо. Еще не вполне владея искусством изображения глубин человеческой личности, ее темных, иррациональных сторон, молодой писатель обращается к языку фантастики. Новые сочинения – «Двойник» (1846) «Господин Прохарчин» (1846), «Хозяйка» (1847) – вызвали недоумение, упреки в отходе от реализма и просто насмешку.

Происходит разрыв с Белинским и его окружением.

Человек мыслящий, эмоциональный, темпераментный, Достоевский нуждался в общении. «Его любовь, с одной стороны, к обществу и к умственной деятельности, а с другой – недостаток знакомства в других сферах, кроме той, в какую он попал, оставив Инженерное училище, были причиной того, что он легко сошелся с Петрашевским, – вспоминал друг Достоевского С. Яновский. – Когда я, бывало, заводил речь с Федором Михайловичем, зачем он сам так аккуратно посещает пятницы у Покрова и отчего на этих собраниях бывает так много людей, Федор Михайлович отвечал мне всегда: «Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин, наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда выпьет рюмочку винца; а его Петрашевский тоже дает, правда кислое и скверное, но все-таки дает»¹⁴. Действительно, в доме у Петрашевского собирался круг людей просвещенных и граждански впечатлительных. Обсуждались новые философские идеи, общественные и культурные новости, актуальные политические события.

А время было самое горячее. По Европе прокатилась волна революционных восстаний. Из Парижа приходили сообщения об уличных боях и баррикадах. В таких условиях «вольнодумные» собрания у Петрашевского стали вызывать опасения у русских властей. Дабы избежать социальных возмущений, решено было нанести упредительный удар по «заговорщикам». В ночь с 22 на 23 апреля 1849 года в соответствии с секретным предписанием III Отделения царской полиции был проведен арест петрашевцев, в их числе и Достоевского.

Следствие длилось несколько месяцев и завершилось вынесением смертного приговора.

На 22 декабря была назначена казнь.

«Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты.<...> Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры»¹⁵.

Из всех утрат гражданской жизни Достоевский более всего тяготился запретом что-либо писать. Даже письма. Тем более книги. «Неужели никогда я не возьму пера в руки? – восклицает Достоевский, прощаясь с братом в декабре 1849 года. – Я думаю, через 4-ре года будет возможно. Я перешлю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

Но не только писать было запрещено в остроге. Но и читать.

Кроме одной книги – Евангелия.

В Тобольске, во время пересылки, Достоевского и его товарища по несчастью С. Ф. Дурова навещает жена декабриста Фонвизина – Наталья Дмитриевна, женщина благородного

¹³ Там же. С. 63.

¹⁴ Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т.1. С. 244–245.

¹⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 161–162.

сердца и искренней духовности. Она дарит Достоевскому Евангелие (в переплете спрятаны 10 рублей – для поддержки в первое время). С этой книгой Достоевский не расставался потом всю жизнь: в последние часы перед смертью Анна Григорьевна будет читать своему мужу именно эту книгу.

Четыре года Евангелие будет единственным чтением Достоевского.

Земная жизнь Христа, его проповеди и притчи, драматические события Страстной недели, предательство Иуды, отречение учеников, крестный путь на Голгофу, распятие и мученическая смерть на кресте – и Воскресение, победа над смертью, удивление и ликование учеников, их труды по созданию Церкви Христовой, послания апостола Павла, Откровение о конце мира, данное апостолу Иоанну, – все эти грозные и величественные события отзывались в сердце писателя, запечатлевались в его душе и сознании.

Когда в 1854 году Достоевский вышел из острога и получил возможность писать, он отправил два больших письма – брату и Н. Д. Фонвизиной.

Брату писал о том, каким испытаниям подвергся за эти годы. «С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностию всевозможных оскорблений. «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие... Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжелее гражданской. Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами, и выходил только на работу... Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользнуть и падать... Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, «живой человек». Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками... Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, – право, можно простить, если скажешь, что было худо. Кроме того, всегда висящая на носу ответственность, кандалы и полное стеснение духа, и вот образ моего житья-бытья. Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года – не скажу тебе. Долго рассказывать»¹⁶.

Фонвизиной он открывает сокровенное своей души: «Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не

¹⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 169–170.

может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹⁷. Удивительные слова. Свидетельство величайшего духовного борения. Эпицентр религиозных исканий. Отныне и впредь мир Достоевского немислим вне этого «горнила сомнений» (по его собственному выражению).

Завершая письмо Фонвизиной, Достоевский признается: «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированной»¹⁸.

Ему шел тридцать третий год.

В 1856 году на российский престол вступил новый царь.

Александр II.

Освободитель.

Это имя он получит после знаменитого Манифеста 1861 года об отмене крепостного права. Но еще прежде, в апреле 1857-го, «желая явить новое милосердие подданным Нашим, омрачившим себя политическими преступлениями и после того безукоризненным поведением доказавшим свое раскаяние»¹⁹, Александр II примет решение об амнистии и возвращении гражданских прав ряду петрашевцев. Достоевскому в том числе. Даже если бы Александр II не издал судьбоносного манифеста, он все равно имел бы право именоваться Освободителем. Русская литература и вместе с ней мировая культура обрели писателя, которому суждено было стать пророком ближайших судеб человечества.

Профессиональному литератору с солидным писательским опытом предстояло вновь доказывать свое право на первое место в ряду коллег. Его ровесники: Тургенев, Некрасов, Гончаров, Островский, Лев Толстой – сделали блистательную карьеру. Их имена были знакомы каждому просвещенному человеку. Они были законодателями эстетических правил. Властителями дум нового поколения.

О Достоевском почти никто не знал.

Конечно, критики, друзья, современники помнили успех «Бедных людей». Но не более. Прошлые заслуги не шли в зачет.

Еще в Сибири Достоевский обдумывает разные художественные планы. Пишет несколько повестей, которые читаются в публике с интересом, но без особого энтузиазма. Наступает эпоха русского романа. Все ждут высказывания масштабного и обстоятельного. Да и самому Достоевскому есть что сказать.

Почти одновременно он разрабатывает темы двух больших произведений, которые, по его замыслу, должны вернуть ему прежнее внимание читателей. Один – на основе каторжных впечатлений. Он найдет свою реализацию в «Записках из Мертвого дома». Второй – из гражданской жизни. Это будет роман «Униженные и оскорбленные». Над ними он работает в течение всего 1860 года.

После нескольких лет вынужденного проживания вне столиц Достоевский наконец-то снова в Петербурге. Атмосфера этого особого, «фантастического», точно из туманов и миражей возникшего Города-парадокса, холодного и душного, парадного и труппного, имперского и пролетарского, с обманчивым рационализмом планировки и вечным хаосом дворов и под-

¹⁷ Там же. С. 176.

¹⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 177.

¹⁹ Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821–1881. 1993. Т. 1. С. 236–237.

воротен, пробудила в памяти писателя многие прежние образы – действительные и сочиненные. Вспоминалась молодость, по-иному виделась прежняя жизнь, проступали черты новой действительности. Нужно было осмыслить и понять те перемены, которые произошли за эти годы в душе, в мировоззрении, во взглядах на искусство.

В людях и обстоятельствах.

В Городе и в мире.

«Петербургский роман» настойчиво заявлял свои права.

Роман «Униженные и оскорбленные» занимает особое место в творчестве Достоевского. Он как бы связывает между собой два этапа литературной биографии писателя. В нем находит свое завершение круг идей и образов, волновавших воображение Достоевского в 1840-е годы, и одновременно здесь впервые появляются черты нового художественного мира, который окончательно утвердится в его последующих повестях и романах. В «Униженных и оскорбленных» писатель напоминает о тех идеалах и эстетических принципах, с которыми он начинал свою деятельность на литературном поприще, и предлагает их новое осмысление. Вступая на путь великих романов, он с любовью и грустью прощается с былыми «мечтами и звуками».

От раннего Достоевского в романе 1860 года остались картины жизни демократических низов Петербурга, сочувственное отношение к простым, честным, попавшим в беду людям, манера взволнованного, прерывистого повествования.

И подлинная история литературного дебюта Достоевского.

«Униженные и оскорбленные» – роман с ярко выраженным автобиографическим содержанием. Впервые в своей художественной практике Достоевский в таком объеме вводит в произведение материалы личного характера. Главный герой – Иван Петрович – получает всю докаторжную биографию Достоевского. Он – молодой литератор, недавно привлечший к себе внимание всей читающей России. О нем пишет «критик Б.», в котором без труда узнается Белинский. Отдельное издание нашумевшего романа лежит на рабочем столе Ивана Петровича. Правда, волна первого успеха уже миновала и приходится зарабатывать на жизнь всякой мелкой литературной работой, лишь по ночам садясь за писание нового романа. Сочинительство – главная отрада его непростого существования, порой без денег, в долгах, в дешевых комнатах с примитивным убранством.

Но не только сходством внешних обстоятельств наделяет Достоевский своего героя. Он вкладывает в его уста бесценные автопризнания, позволяющие нам сегодня почувствовать строй души молодого писателя: «Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим». Из реплик Ивана Петровича мы можем составить представление о писательской технологии раннего Достоевского, заглянуть в его творческую лабораторию.

Почти все персонажи романа так или иначе знакомы с сочинением Ивана Петровича и высказывают о нем свое суждение. Когда-то в «Бедных людях» герои Достоевского читали «Станционного смотрителя» и гоголевскую «Шинель». Теперь герои Достоевского читают самого Достоевского.

Рискованный, до отчаяния смелый ход.

Писатель восстанавливает в правах свое литературное прошлое, замыкает разорванное звено цепи литературной преемственности.

Иван Петрович – единственный значимый герой романа, не имеющий фамилии. Странный недосмотр. Или – все-таки намеренный умысел? Иваном Петровичем звали Белкина, простодушного автора «Станционного смотрителя». Некоторые намеки в тексте «Униженных и

оскорбленных» дают основание сблизить и совместить образы этих двух вымышленных литераторов. Пушкин в предисловии к «Повестям Белкина» сообщает, что Белкин умер тридцати лет от роду и после себя «оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зиму все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом»²⁰. Герой Достоевского пишет свои воспоминания, также находясь на больничной койке и ожидая скорой смерти. Это тоже роман, который, возможно, не будет закончен. В таком случае он достанется в наследство фельдшеру – «хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять». И тогда в литературе останутся только первые опыты его.

Да и сама история, которая лежит в основе сюжета «Униженных и оскорбленных», очень уж напоминает «Станционного смотрителя».

«Это натурально! это живет!»

Достоевский свидетельствует свою верность прежним, «пушкинским» заветам русской литературы и доказывает неисчерпаемые возможности их дальнейшего развития и углубления.

Но почему тогда Иван Петрович пишет свои записки на смертном одре? Вряд ли ради одной лишь драматизации событий придумывает Достоевский такой исход своему герою. Тем более такому близкому по духу и биографии, фактически своему alter ego («другому я»). Это, несомненно, своеобразная художественная декларация. Как бы ни симпатичен и привлекателен был автор «Бедных людей», его время закончилось. Да и чего бы стоил Достоевский как писатель и человек, если бы, пройдя «Мертвый дом», он оставался тем же, каким был. Сам он это знал уже в 1849 году, через несколько часов после несостоявшейся казни, и признавался брату: «Да правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая создала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих»²¹.

«Биограф» Белкина сообщает: «Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестся может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая»²². К герою «Униженных и оскорбленных» подобная характеристика может быть применена с полным основанием.

Впрочем, любовная линия романа – это уже из другого периода жизни Достоевского. Как вспоминал С. Яновский, знавший писателя еще в 1840-х годах, «во все время моего знакомства с Федором Михайловичем и во всех моих беседах с ним я никогда не слышал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил бы какую-нибудь женщину страстно. До ссылки Федора Михайловича в Сибирь я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер которой-либо из знакомых нам дам и девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири составляло одно из любимых его развлечений»²³.

Сложный характер отношений Ивана Петровича и Наташи Ихменевой питается впечатлениями Достоевского от общения со своей первой женой Марией Дмитриевной. Сам тип женщины страстной, гордой, самоотверженной и властной одновременно, слабой перед стихией нахлынувшего чувства и железной в решимости все отдать ради любимого человека, разрываемой противоречиями, нервической и – в конечном итоге – несчастной восходит к ней. Достоевский будет неизменно возвращаться к нему, рисуя возможные варианты развития этого харак-

²⁰ Пушкин А. С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина // Сочинения: В 3 т. М.: Худож. лит., 1987. Т. 3. С. 47.

²¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 162.

²² Пушкин А. С. Указ. соч. С. 47.

²³ Яновский С. Д. Указ. соч. С. 247.

тера. Такой будет Катерина Ивановна Мармеладова в «Преступлении и наказании». Такой будет Настасья Филипповна Барашкова в «Идиоте». Такими будут Анна Андреевна Ахмакова в «Подростке» и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых».

Конечно, Наташа Ихменева – всего лишь беглый очерк лица. Мы почти не видим ее в действии. Фактически она совершает единственный серьезный поступок, вся остальная ее жизнь остается за кадром. После ухода Наташи из дома читатель видит ее только в четырех стенах ее комнаты и может лишь по ее словам да по замечаниям Ивана Петровича судить об интенсивности и глубине переживаний героини. Достоевский, мастер художественной интриги, здесь пока еще не знает, чем ее занять. Может быть, ему еще самому до конца не ясны романские возможности, которые заключает в себе образ Наташи.

В то же время Достоевский чувствует мощный личностный потенциал героини. Именно он позволяет писателю выстроить сложный, противоречивый, порой невероятный, чуть ли не фантастический круг отношений. Наташа Ихменева вовсе не Дуня из «Станционного смотрителя». В отличие от пушкинской героини, характер которой лишь намечен, Наташа представлена во всей диалектике душевных переживаний. Классический «любвный треугольник» в «Униженных и оскорбленных» многократно умножен. И во всех вариантах одной из «вершин» является Наташа. За ее сердце ведут соперничество Иван Петрович и Алеша Валковский, сын соседа Ихменевых по усадьбе. У них обоих оспаривает право на любовь старик Ихменев, отец Наташи. За его чувствами ревностно следит мать Наташи, Анна Андреевна, любящая и трепещущая за судьбу обоих. В отношения между Наташей и Алешей вклинивается Катя, которую отец Алеши прочит ему в невесты. Да и сам старший Валковский постоянно интригует против Наташи и Алексея. Наконец, маленькая Нелли, сирота, которую на некоторое время приютил у себя Иван Петрович, полюбив своего благодетеля, непрерывно страдает из-за его чувств к Наташе.

Ни в одном из этих микросюжетов Наташа не является пассивной стороной. Она везде вовлечена в напряженное эмоциональное общение с двумя другими партнерами. И почти всегда в основе ее реакций лежит любовь. Пожалуй, только один старший Валковский, жестокий и циничный, выпадает из сферы ее расположения, да и то она до самого конца не может поверить в его злую волю и подлость. Ко всем остальным она старается выказать возможное участие. Другое дело, что это не всегда приносит желаемые плоды и душевное облегчение. Даже скорее напротив. Она каждого по-своему любит, но всех одинаково мучает. И себя в том числе.

Комментируя характер отношений между Наташей и Алешей, Иван Петрович замечает: «Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая». Эта формула в принципе приложима и ко всем другим контактам Наташи с окружающим миром. С разной степенью интенсивности она стремится быть «госпожой» и «жертвой» каждого, кто попадает в ее жизненное пространство. «Любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь». Пусть даже это будет ее служанка Мавра.

Это парадоксальное качество в Наташе столь сильно, что она «заражает» им и всех остальных. Иван Петрович вместо того, чтобы, как предписывает классическая схема, отбивать у Алеши свою возлюбленную, напротив, всячески способствует их отношениям, выступая конфидендом и поверенным в их делах. Старик Ихменев проклял строптивую дочь, но чуть ли не каждый день ходит под окном ее квартиры, подкрадывается к двери и прислушивается, в надежде услышать дорогой голос; разоренный тяжбой с Валковским, последние сто пятьдесят рублей он передоверяет Ивану Петровичу, чтобы тот отдал их Наташе в «черный день».

Катя, узнав о чувствах Наташи и будущего своего жениха, требует от Алеши, чтобы он женился на Наташе, и в то же время едет к Наташе, чтобы на совместном совете решить, с кем же из них Алеша будет счастлив.

Нелли просит Ивана Петровича, чтобы он, когда женится на Наташе, взял бы ее к себе в служанки. И так далее. В этом водовороте взаимных самопожертвований и самоутверждений в конечном итоге может погибнуть, да почти на грани гибели и находится, весь мир этих несомненно добрых и искренних людей. Смерть Нелли – грозное тому предзнаменование. И спасение его приходит от Наташи. Перестрадав со всеми и за всех, она отказывается быть «госпожой» и тотчас перестает быть «жертвой».

Любить и *не* мучить того, кого любишь, – вот итог ее романной судьбы.

Иными словами – быть христианином.

Полюбить ближнего своего, как самого себя.

Но прежде – полюбить себя. То есть Бога, божественное начало в себе. Ибо по его Образу и Подобию сотворен человек.

Финальные сцены книги разыгрываются в канун Светлого Христова Воскресения, на фоне первой весенней грозы. «О, благодарю тебя, Боже, за все, за все, и за гнев Твой и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просияло теперь, после грозы, на нас! За всю эту минуту благодарю!» – восторженно восклицает вновь обретший любимую дочь старик Ихменев.

Быть со Христом: что проще и что сложнее?

Двадцать веков живет человек с Новым Заветом. По Евангелию учится грамоте, постигает основы мира, воспитывает душу. Но пока на собственном опыте не изведает всех мук несправедности, не поймет простых сложных истин заповедей Христовых.

Воскресению *всегда* предшествует Страстная неделя.

Тургенев еще только писал «Отцы и дети», когда роман «Униженные и оскорбленные» стал достоянием читателей. Тема, вынесенная в заглавие тургеневского романа, в произведении Достоевского представлена широко и многообразно. Она и впредь будет занимать Достоевского, особенно драматично представ в романах «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». В этих романах он обратится к социально-политической, историко-культурной, финансово-имущественной сторонам проблемы. В «Униженных и оскорбленных» главное внимание писателя собрано вокруг психологии роста и воспитания детей. Он прослеживает судьбы молодых героев с самого их детства, тщательно отбирая информацию, которая могла бы помочь читателям понять мотивы их последующих поступков. Но особенно пристально он всматривается в фигуры отцов, понимая, что, какие бы книжки в детстве ни читались, решающая роль в формировании личности остается все же за живой жизнью.

Три отца выведены на страницах романа: Николай Сергеевич Ихменев, Петр Александрович Валковский, Иеремия Смит. Непростые сюжетные отношения связывают их между собой, но в еще большей степени связаны они судьбами своих детей. Они представляют собой три типа родительского поведения.

Для Ихменева дочь – это домашний идол, вокруг которого выстроена вся жизнь. Все думы и мечтания связаны с ней и ее будущностью, которое видится в строгих патриархальных традициях: чтобы муж был благородного происхождения, честен, порядочен и материально обеспечен. Иван Петрович, который явно ухаживает за Наташей, воспринимается с этих позиций достаточно скептически. Да, он честен и порядочен. Но что за странная у него профессия? Может ли она обеспечить достойное существование Наташи? И даже литературный успех Ивана Петровича лишь отчасти поколебал мнение старика Ихменева. Такую «романическую» блажь, как любовь, Николай Сергеевич и допускать не желает. Еще более сомнителен Алеша: мало того, что мальчишка и легкомыслен не в меру, он еще и сын злейшего врага. Хотя наслед-

ник княжеского титула и, кажется, с деньгами. Мать-то, впрочем, купчиха. На деньгах когда-то женился Петр Александрович. Есть над чем поломать голову.

Совсем иначе смотрит на сына князь Валковский. Во-первых, он почитает его за дурачка и ни во что не ставит как личность, хотя и всячески демонстрирует заботу о нем, поддерживает деньгами, знакомит с важными лицами в петербургском свете. Во-вторых, и это всего важнее, сын для Петра Александровича – не цель и смысл жизни, а всего лишь еще одно, и весьма полезное, средство в достижении собственных материальных и социальных выгод. Алеша в планах князя должен сыграть роль «троянского коня», с помощью которого можно будет прибрать три «плохо лежащих» миллиона Катиного приданого. Катя тоже воспринимается князем как проходная пешка в его игре, и он немало озадачивается и весь напрягается, когда узнает вдруг, что у девушки есть свои виды на то, как распорядиться деньгами. Такое отцовство – все равно что сиротство. И Достоевский закрепляет эту мысль образом Нелли – сироты при живом отце. Ведь князь, как выяснится в самом конце романа, и ее отец. До тех пор, пока Нелли остается вне игрового поля князя, ему и дела нет до ее существования, и только когда ее присутствие начинает угрожать его махинациям и интригам, старший Валковский начинает вести решительное расследование. На месте Нелли всегда может оказаться Алеша.

Иеремия Смит – дедушка Нелли и тесть князя. Мать Нелли когда-то оставила отца из-за любви к князю. «Старик же любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел. Серьезно. Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею». Мать Нелли и ее чувства князь использовал в целях получения некоторых документов, которые позволили ему завладеть предприятиями, принадлежавшими Смицу. «Бежала она, старик-то ее проклял да и обанкрутился». И как ни просила потом мать Нелли прощения у отца, так и не получила его. Смит во многом похож на старика Ихменева, да и истории их очень близки, так что даже возникает соблазн их отождествить.

И все же Смит – это фигура иного типа. Ихменев готов пожертвовать всем ради счастья дочери, его гнев вызван лишь тем, что свое счастье Наташа видит иначе и не спрашивает у него совета. В течение всего романа Николай Сергеевич борется со своей уязвленной гордостью и мучительно ищет выхода из сложившейся ситуации, понимая, что конфликт никому не приносит пользы. Смит сильнее дочери любит себя, свое личное счастье, ради него он готов пожертвовать чувствами дочери, а по сути – ее судьбой. Ведь если бы он не был так эгоистичен, мать Нелли нашла бы счастье с любимым человеком, неким Генрихом, и князю попросту нечего было бы там делать. Но Генриху отказали. Дочь для Смита – дорогая игрушка, и тут он не лучше своего тестя.

Драма отцов и детей, развернутая на страницах «Униженных и оскорбленных», – драма непонимания отцами того, что дети вырастают, становятся взрослыми и начинают жить собственной жизнью, полной страстей, дум и забот. «Безвозвратного не воротишь, – объясняет Ивану Петровичу Наташа в первые дни своего ухода из дому, – и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием; лаская, он еще гладил меня по голове, так же как когда я была еще семилетней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки... Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной... Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если б я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком».

И Алеша, несмотря на все безволие и зависимость от отца, уже не мальчик. Он еще удивит князя.

А Катя тем более, несмотря на то что «она до того еще ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины».

В предельном своем развитии подобное непонимание может обернуться трагедией, предупреждает нас история семьи Смит.

Семейство Валковских заслуживает отдельного разговора. И князь Петр Александрович, и его сын Алексей – фигуры новые в творчестве Достоевского и, как мы можем сегодня судить, достаточно перспективные.

Старший Валковский открывает галерею «хищных» типов в произведениях Достоевского. Это человек, живущий только для себя. Он – воплощение эгоизма. Более того, он его идеолог и проповедник. «Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов» – вот квинтэссенция его мировоззрения. Ему известны все формы удовольствий, а если о чем-то он еще не знает, то с радостью этому обучится. Это глубоко порочный человек. Он начисто лишен духовного начала и потому не останавливается ни перед какими средствами ради достижения собственных целей. В угоду своим похотям он, не задумываясь, принесет любую жертву. Здесь для него нет преград.

Рисуя образ князя, Достоевский выступает с критикой буржуазной цивилизации, во главу угла поставившей материальное благополучие и богатство. Писатель показывает, что подобная жизненная установка чревата духовной гибелью человека. Жажда удовольствий неутолима. Каждый новый уровень достатка изживается очень быстро и побуждает неудовлетворенность, которая провоцирует действия, направленные на изыскание дополнительных средств. Чем дальше, тем действия эти становятся рискованнее и рискованнее, неизменно приближаясь к порогу законности. Преступление – неизбежный исход каждого охотника за удовольствиями. Идеология буржуазного прогресса, по мысли Достоевского, – это идеология поступательного накопления человечеством опыта преступного поведения.

Князь Валковский, пожалуй, самый «прозрачный» герой среди всех «хищников» Достоевского. Его образ, как и образ Наташи, своего рода программное заявление художника. Куда сложнее будут родственные князю фигуры Свидригайлова в «Преступлении и наказании», Ставрогина в «Бесах», Федора Павловича Карамазова в «Братьях Карамазовых». Князь Валковский представлен в романе в первую очередь как проявление социального зла. В последующих произведениях Достоевский попытается постичь природу этого типа в координатах вечности.

Во что превратится Алеша, когда вырастет, сказать трудно. Возможно, он наследует от своего батюшки звериное начало и превратится в капиталистического монстра, тем более что некоторые задатки у него есть. Но такой, каким мы его видим в романе, он скорее выступает в качестве антипода старшего Валковского. Все, кто соприкасаются с ним – Наташа, Иван Петрович, старики Ихменевы, Катя, – признают, что он совершенно невинное дитя, искренний, увлекающийся, добрый и простодушный человек, без хитростей и уловок, с жаждой добра в сердце и понятиями о благородстве, чести, справедливости. Его наивность беспредельна. Она всех очаровывает.

И губит.

Не желая никому зла, Алеша всем приносит страдания. Достоевского он интересует не меньше князя. Старший Валковский полностью отдает отчет в своих поступках, и творимое им зло – плод преднамеренного умысла. Но как и почему мягкосердечный Алеша, даже когда не выступает орудием в руках отца, становится разрушителем мира любящих его людей? Почему

их любовь к Алеше и его к ним оборачивается против них самих и вместо счастья приносит горе? В каком уголке невинной души кроется опасность? В «Униженных и оскорбленных» предложена версия дурной наследственности: эгоизм, даже в микроскопических дозах и в формах, казалось бы, почти безобидных, как ржа, разъедает любые добрые намерения, отравляет самые искренние чувства.

Но похоже, что такой ответ Достоевскому показался слишком прямолинейным. В романе «Идиот» он выведет сходную фигуру князя Мышкина, освободив его от наследственных черт князей Валковских. Князь Мышкин вберет в себя и многие черты Ивана Петровича, героя с безупречной репутацией. Тем не менее результат окажется более чем противоречивым и малоутешительным. Участие Мышкина в судьбах близких людей завершится крахом.

Достоевский – писатель «крайних» вопросов. По точному замечанию Валентина Распутина, «человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный... Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов»²⁴. В отличие от профессиональных философов, системно и кропотливо выстраивающих ряды суждений и понятий, Достоевский, отслеживая все звенья логической цепи, прекрасно владея приемами диалектики, не заминается подолгу на «технической» стороне аргументации. Его мысль, точно скорый поезд, пронесется мимо промежуточных положений и выводов, отмечая их по ходу, но не задерживаясь, лишь иногда приостанавливаясь на ключевых этапах и вновь устремляясь дальше. Но и в конце пути – остановка лишь вынужденная, только потому, что кончился рельсовый путь. Впрочем, и тогда Достоевский пытается заглянуть вдаль, за линию горизонта.

Роман «Униженные и оскорбленные» – это такая большая узловая станция, где сходятся пути из прошлого и открываются направления будущего. В нем Достоевский осваивает территорию социально-исторического романа, который становится в начале 1860-х годов ведущим жанром русской литературы, пробует инструментарий художественного исследования общественной жизни, обнаруживает конфликтные ситуации, лежащие вне компетенции жанра и требующие иных подходов и средств.

Спустя три года после публикации Достоевский каялся: «Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму... В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь»²⁵. Подобная самооценка свидетельствует о стремительном росте писателя. Ему уже тесно в тех формах, которые еще совсем недавно казались актуальными. Решимость, с какой он отказывается от них, подтверждает новое качество его понимания писательского искусства.

Только на первый взгляд «Униженные и оскорбленные» повторяют ранние произведения писателя.

На самом деле – это уже новый Достоевский.

Достоевский «Преступления и наказания» (1865) и «Игрока» (1865), «Идиота» (1868) и «Бесов» (1871), «Подростка» (1875) и «Братьев Карамазовых» (1879–1880).

Павел Фокин

²⁴ Деятели советской культуры о Достоевском... // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1983. Вып. 5. С. 66–67.

²⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., 1980. Т. 20. С. 134.

Часть первая



Глава I

Прошлого года двадцать второго марта вечером со мной случилось престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов, а во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется, вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслить тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лени. Отчего же?

Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо: начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился как вкопанный и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения, и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение.

Я не мистик; в предчувствия и гаданья почти не верю; однако со мною, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик: почему, при тогдашней моей встрече с ним, я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен; а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы.

Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-желтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, – все это невольно поражало всякого встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика, одного, без присмотра, тем более что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя, – я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал.

«И зачем он таскается к Миллеру и что ему там делать? – думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада – следствие болезни и усталости – закипала во мне. – Об чем он думает? – продолжал я про себя, – что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидел, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки: что она – собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – господин впереди, а собака за ним следом, – то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом:

Стары-то мы, стары, Господи, как мы стары!

Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую.

В кондитерской старик аттестовал себя престранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжение трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука; а только сидел, смотря перед собою во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, покругившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтоб дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака и, опять поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской наконец начали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал.

Посетители этой кондитерской большею частию немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта – всё хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красиль-

щики, шляпные мастера, седельники – всё люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собою знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью, в квартире хозяина, трещал августин, наигрываемый на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались.

Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю и лечь в постель? Неужели в самом деле я здесь только для того, чтоб разглядывать этого старика?» Досада взяла меня. «Что мне за дело до него, – думал я, припоминая то странное, болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице. – И что мне за дело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чем уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть?» Но, раздумывая и сетуя, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня все более и более, и мне наконец стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили и только изредка, в полчаса раз, сообщали друг другу, отрывочно и вполголоса, какую-нибудь новость из Франкфурта да еще какой-нибудь виц или шарфзин²⁶ знаменитого немецкого остроумца Сафира, после чего с удвоенною национальною гордостью вновь погружались в чтение.



²⁶ Остроту (нем.).

Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий: ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький кругленький и чрезвычайно опрятный немец, со стоячими, туго накрахмаленными воротничками и с необыкновенно красным лицом, приезжий гость, купец из Риги, Адам Иваныч Шульц, как узнал я после, короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая «Dorfbarbier»²⁷ и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило. Адам Иваныч был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой. Однако не вытерпел и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты: тот же упорный взгляд, то же бессмысленное рассматривание. Смолчал Адам Иваныч и в этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своею обязанностью защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическою силою своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки и эксцентрическая позиция Адама Иваныча обратили на себя внимание всех посетителей. Все тотчас же отложили свои занятия и с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. Сцена становилась очень комическою. Но магнетизм вызывающих глазок красненького Адама Ивановича совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося господина Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его была на луне, а не на земле. Терпение Адама Иваныча наконец лопнуло, и он разразился.

– Зачем вы на меня так внимательно смотрите? – прокричал он по-немецки резким, пронзительным голосом и с угрожающим видом.

Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слышал вопроса. Адам Иваныч решился заговорить по-русски.

– Я вас спросит, зачom ви на мне так прилежно взирайт? – прокричал он с удвоенною яростию. – Я ко двору известен, а ви неизвестен ко двору! – прибавил он, вскочив со стула.

Но старик даже и не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух, и нагнулся к самому его уху.

– Каспадин Шульц вас просит прилежно не взирайт на него, – проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятого посетителя.

Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружались признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой – униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого

²⁷ «Деревенский брадобрей» (нем.).

им по ошибке места, – приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Иваныча, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего.

Миллер был человек добрый и сострадательный.

– Нет, нет, – заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу, – сидитт! Aber²⁸ гер²⁹ Шульц очень просил вас прилежно не взирайт на него. Он у двора известен.

Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами.

– Азорка, Азорка! – прошамкал он дрожащим, старческим голосом, – Азорка!

Азорка не пошевелинулся.

– Азорка, Азорка! – тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть, от старости, а может быть, и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты... Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе.

– Можно шушель сделать, – заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шушель означало чучелу.) – Можно кароши сделать шушель; Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель; Федор Карлович Кригер велики мастер сделать шушель, – твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику.

– Да, я отлично сделает шушель, – скромно подхватил сам гер Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.

– Федор Карлович Кригер имеет велики талант, чтоб сделать всяки превосходны шушель, – прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи.

– Да, я имею велики талант, чтоб сделать всяки превосходны шушель, – снова подтвердил гер Кригер, – и я вам даром сделаит из ваша собачка шушель, – прибавил он в припадке великодушного самоотвержения.

– Нет, я вам заплатит за то, что ви сделаит шушель! – неистово вскричал Адам Иваныч Шульц, вдвое покрасневшийся, в свою очередь стгорая великодушием и невинно считая себя причиною всех несчастий.

Старик слушал все это, видимо не понимая и по-прежнему дрожа всем телом.

– Погодитт! Выпейте одну рюмку кароши коньяк! – вскричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти.

Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и, прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно неподходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку. Все стояли в изумлении; послышались восклицания.

²⁸ Но (нем.).

²⁹ Господин (от нем. – Herr).

– Швернот! вас-фюр-эйне-гешихте!³⁰ – говорили немцы, выпуча глаза друг на друга.

А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поверотя от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть не на середину переулка; к забору была прилажена деревянная настилка для проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колена, поддерживал свою голову. Я сел подле него.

– Послушайте, – сказал я, почти не зная, с чего и начать, – не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете?

Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку.

– Душно! – проговорил он хриплым, едва слышным голосом, – душно!

– Пойдемте к вам домой! – вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его, – вы выпьете чаю и ляжете в постель... Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора... мне знаком один доктор...

Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал.

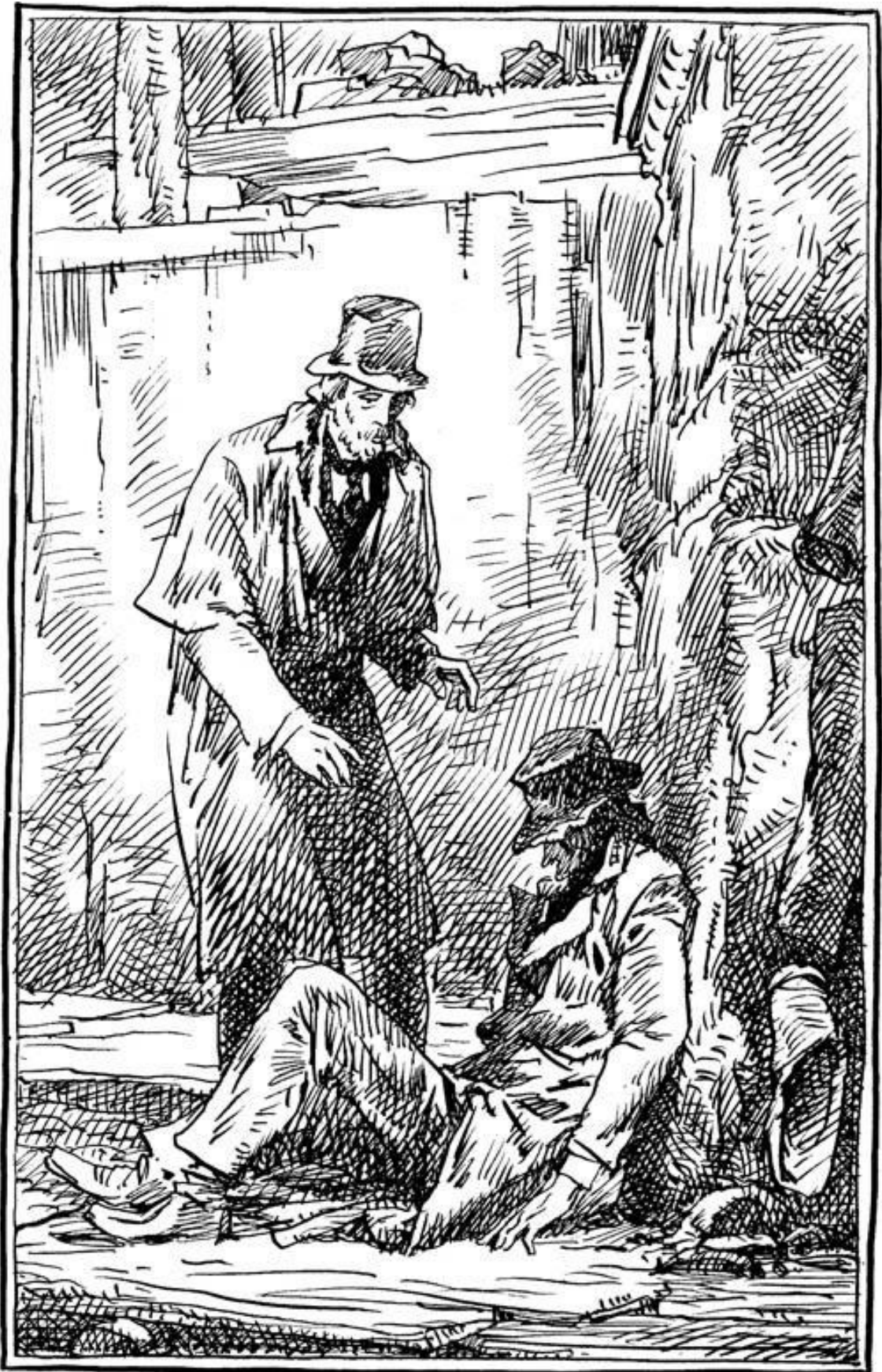
– На Васильевском острове, – хрипел старик, – в Шестой линии... в Шестой линии...

Он замолчал.

– Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли; это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу...

Старик не двигался. Я взял его за руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него – он был уже мертвый. Мне казалось, что все это происходит во сне.

³⁰ Вот беда! что за история! (нем.)



Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском

острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугена, под самую кровлю, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась; свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его; кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка, навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, Иеремия Смит, машинист, семидесяти восьми лет от роду. На столе лежали две книги: краткая география и Новый Завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома, – никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти всё мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугой. Управляющий домом, из благородных, тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц, что покойник жил в ней четыре месяца, но за два последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали: не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой: мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично и половины жильцов. Не знаю наверно, чем именно кончились тогда все эти справки, но наконец старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в Шестую линию, и, только придя туда, усмехнулся сам над собою: что мог я увидеть в Шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? «Но зачем же, – думал я, – старик, умирая, говорил про Шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли?»

Я осмотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня; оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает, – думал я, – может быть, кто-нибудь и наведается о старике!» Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил.

Глава II

В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я – вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и большие мечты в дело, в занятие... Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять.

Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из середины. Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не велика будет моя автобиография.

Родился я не здесь, а далеко отсюда, в – ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомнить только об одном тебе с восторгом и благодарностью! Тогда на небе было такое ясное, такое не петербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным; и когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей, на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана с овражьего дна и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой. Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды «Детское чтение», как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса и Далинду» – волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я, год тому назад, припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии; дон Рамир, его отец» и т. д., я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась (я помню это) и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер; мы все перебрали: и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион, – Господи, как она тогда плакала! – и нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой

долговязый и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощанья я отвел ее в сторону, чтоб сказать ей что-то ужасно важное; но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя, в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.

Глава III

Николай Сергеич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь – последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось пятьдесят душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и тридцати пяти лет от роду женился на бедной дворяночке, Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе, у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться: в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось девятьсот душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Валковский. Его приезд произвел во всем околотке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел не малый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагодарассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. Правда, что Николай Сергеич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих; особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепьяно, пел. Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеич сам предложил себя в управляющие; но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам в форме самой дружеской и

покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренно поверил в его дружбу. Николай Сергеич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые если уж полюбят кого (иногда Бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического.

Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владельцем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжения Николая Сергеича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в четыреста душ, в той же губернии. Николай Сергеич был в восторге; успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло... Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Валковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.

Глава IV

Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости, и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк-потомок отрасли старинной». Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имение и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в – ю губернию, где выхлопотал через покровительство одного знатного петербургского родственника довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимую веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандальную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец, получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя в важном чине и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит в вельможи!» – говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Ихменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться: справедливы ли слухи о браке? Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства; но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом к Ихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей студентов, знакомых молодому

князю. В это-то время Николай Сергеич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее...

Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно (он, видимо, старался оправдать его), но что он решился наказать сына, поугубить его, а именно: сослать его на некоторое время в деревню, под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на «своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну», просил их обоих принять его ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и «внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь; они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеич горячо полюбил его, не менее чем свою Наташу; даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше – так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверзтою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным, – он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его? Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветреность Алешы, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты; доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных, эгоистических соображений. Николай Сергеич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и он и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким, веселым смехом; но Николай Сергеич тотчас же его останавливал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться.

Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и, наконец, до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню (о чем заранее уведомил Ихменевых), то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь – настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алешы происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу... Вообще Николай Сергеич с трудом узнавал своего прежнего «друга»: князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придиричив к Николаю Сергеичу; в проверке счетов по имени выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева; он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением

Васильевского, четырнадцать лет тому назад: в этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется из важнейших; к Николаю же Сергеичу он никогда не ездил и обращался с ним, как будто с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие: без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околотку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лет) сумела влюбить в себя двадцатилетнего юношу; что и отец и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают; что хитрая и «безнравственная» Наташа околдовала наконец совершенно молодого человека, не выдавшего в целый год, ее стараниями, почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться в пятнадцати верстах от Васильевского, в селе Григорьеве, по-видимому тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений; а между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и... осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней: от нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как двенадцатилетний ребенок.

Тем временем ссора шла все дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидетели, и князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеича Васильевским далеко не отличалось образцовой честностью. Мало того: что три года тому назад при продаже рощи Николай Сергеич утаил в свою пользу двенадцать тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеича вором. Ихменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением; произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеич, за неимением каких-либо бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решил наконец переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба.

Глава V

Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней; но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменялась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась, – и что за наслаждение было это отгадывание! Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо; он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусилась, плакала о прежнем житье-бытье, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней и подумать некому, и пускалась со мной в престранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности.

Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется, из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала: что я именно делаю, и когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрителное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел наконец мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились: так странно их это поразило! Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель – тот самый Ваня, который, и т. д., и т. д., и все качала головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался; стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но непрерывные новые слухи, объявления в журналах и, наконец, несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами, и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь, как ребенок, моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности.

Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осадили его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.

«Сочинитель, поэт! Как-то странно... Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой шелкопер, ненадежный!»

Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки (так памятно мне все подробности и все то золотое время!). В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уже знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова; рассказывал про Пушкина, про Гоголя.

– Знаю, братец, все знаю, – возражал старик, может быть слышавший первый раз в жизни все эти истории. – Гм! Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени! Стихи гимназистам писать; стихи до сумасшедшего дома вашу братью, молодежь, доводят... Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше; так, эфемерное что-то... Я, впрочем, его и читал-то мало... Проза другое дело! тут сочинитель даже поучать может, – ну там о любви к отечеству упомянуть или так, вообще про добродетели... да! Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! – заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чаю уселись за круглый стол, – прочти-ка, что ты там настроил; много кричат о тебе! Посмотрим, посмотрим!

Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав наконец экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение.

Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя! Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она... Но вот наконец мы сидим за столом. Старик соорудил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго-строго судить, «сам увериться». Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно; чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже заметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу; что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да! пришло наконец это время, пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья, всё вместе, всё разом пришло! Заметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь... и вдруг испугалась: все же я был не граф, не князь, не владетельный принц или, по крайней мере, коллежский советник из правоведа, молодой, в орденах и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполупину.

«Хвалят человека, – думала она обо мне, – а за что – неизвестно. Сочинитель, поэт... Да ведь что ж такое сочинитель?»

Глава VI

Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное – вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим... Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась. «Ну стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», – написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шагу видно, что далеко кулику до Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, – говорил он, – зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинки стояли в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою.



– Гм! вот она какая восторженная, – проговорил старик, пораженный поступком дочери, – это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв! Она добрая

девушка... – бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то что во время чтения сама была в некотором волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить: «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:

– Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Вон у меня там «Освобождение Москвы» лежит, в Москве же и сочинили, – ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим все это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного... Ну да уже теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет? Тогда опять деньги... Гм!

– И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? – заметила Анна Андреевна. – Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, Господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!

– Знаешь, Ваня? – продолжал старик, увлекаясь все более и более, – это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот, ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если б и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!

И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.

– Или вот, например, табакерку дадут... Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, – прибавил он полушепотом и с значительным видом прищутив свой левый глаз, – или нет? Или еще рано ко двору-то?

– Ну, уж и ко двору! – сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.

– Еще немного, и вы произведете меня в генералы, – отвечал я, смеясь от души.

Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен.

– Ваше превосходительство, не хотите ли кушать? – закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать.

Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками:

– Добрый, добрый папаша!

Старик расчувствовался.

– Ну, ну, хорошо, хорошо! Я ведь так, спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты, чувствительная! – прибавил он, потрепав свою Наташу по покрасневшей щечке, что любил делать при всяком удобном случае, – я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал (далеко до генерала!), а все-таки известное лицо, сочинитель!

– Нынче, папаша, говорят: писатель.

– А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель; а я вот что хотел сказать: камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил: об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы все это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции...

– Да ты не загордись тогда, Иван Петрович, – прибавила, смеясь, Анна Андреевна.

– Да уж поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!

И она опять ущипнула меня за руку.

– А эта все надо мной подсмеивается! – вскричал старик, с восторгом смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. – Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался; и всегда-то я был такой... а только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты у нас совсем простой...

– Ах, Боже мой! Да какому же ему быть, папочка?

– Ну, нет, я не то... А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то этак лицо... то есть совсем как будто не поэтическое... Этак, знаешь, бледные они, говорят, бывают, поэты-то, ну и с волосами такими, и в глазах этак что-то... Знаешь, там Гёте какой-нибудь или проч... я это в «Аббадонне» читал... а что? Опять соврал что-нибудь? Ишь, шалунья, так и заливаешься надо мной! Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо, – это ведь невелика беда, лицо-то; для меня и твое хорошо, и очень нравится... Я ведь не к тому говорил... А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное; живи честно, не возмечтай! Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу; вот что я хотел сказать, вот именно это-то я и хотел сказать!

Чудное было время! Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старикуну приносили вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг, неизвестно почему, начал чрезвычайно интересоваться; даже начал читать критические статьи Б., про которого я много наговорил ему и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». Старушка зорко следила за мной и Наташей; но не уследила она за нами! Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне: *да*. Но узнали и старики; погадали, подумали; Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне.

– Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович, – говорила она, – а вдруг не будет удачи или там что-нибудь; что тогда? Хоть бы служили вы где!

– А вот что я скажу тебе, Ваня, – решил старик, надумавшись, – я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... ну, да чего тут! Видишь, Ваня: оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант... ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант (я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне», слишком уж там тебя худо третируют; ну да ведь это что ж за газета!). Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика этак полтора или хоть год: пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге – твоя Наташа; не удастся тебе – сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..

На этом и остановились. А через год вот что было.

Да, это было почти ровно через год! В ясный сентябрьский день перед вечером вошел я к моим старикам больной, с замиранием в душе и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже они перепугались, на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я десять раз подходил к их дверям и десять раз возвращался назад, прежде чем вошел, – не оттого, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег; не оттого, что я еще не какой-нибудь «атташе» и далеко было до того, чтоб меня послали для поправления здоровья в Италию; а оттого, что можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год десять лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами... И вот, помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел; лицом я осунулся, похудел, пожелтел, – а все-таки далеко не похож был я на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком

торопливым сожалением, а сама про себя думала: «Ведь вот эдакой-то чуть не стал женихом Наташи, Господи, помилуй и сохрани!»

– Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? (самовар кипел на столе), да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какие-то вовсе, – спросила она меня жалобным голосом, как теперь ее слышу.

И как теперь вижу: говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик и с которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Валковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашел случай побывать у Ихменевых. Старик, любивший своего милого Алешу, как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца; Николай Сергеич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать: что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал наконец обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеича ужасным письмом, все на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как! его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость! Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком... И оставить все это без удовлетворения! В первые дни он слег в постель от отчаяния. Все это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я, больной и убитый, все это последнее время, недели три, у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... нет! я тогда еще только предчувствовал, знал, да не верил, что, кроме этой истории, есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете, и с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился; я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер!

– Да, Ваня, – спросил вдруг старик, как будто опомнившись, – уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой: давно хотел тебя навестить, да все как-то того... – И он опять задумался.

– Я был нездоров, – отвечал я.

– Гм! нездоров! – повторил он пять минут спустя. – То-то нездоров! Говорил я тогда, предостерегал, – не послушался! Гм! Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то!

Да, не в духе был старик. Не было б у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мной о голодной музе. Я всматривался в его лицо: оно пожелтело, в глазах его выразилось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывист и непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой.

– Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома? – спросил я озабоченную Анну Андреевну.

– Дома, батюшка, дома, – отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. – Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли! Три недели не видались! Да чтой-то она у нас какая-то стала такая, – не сообразишь с ней никак: здоровая ли, больная ли, Бог с ней!

И она робко посмотрела на мужа.

– А что? Ничего с ней, – отозвался Николай Сергеич неохотно и отрывисто, – здорова. Так, в лета входит девица, перестала младенцем быть, вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?

– Ну, уж и капризы! – подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом.

Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» – подумал я в страхе.

– Ну, а что, как там у вас? – начал он снова. – Что Б., все еще критику пишет?

– Да, пишет, – отвечал я.

– Эх, Ваня, Ваня! – заключил он, махнув рукой. – Что уж тут критика!

Дверь отворилась, и вошла Наташа.

Глава VII

Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепьяно; потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились; она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала.

Три недели, как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в три недели! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые, бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью.

Но Боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после, не видал я ее такую, как в этот роковой день. Та ли, та ли это Наташа, та ли это девочка, которая, еще только год тому назад, не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне: *да*.

Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась.

– Ты к вечерне собиралась, Наташа, а вот уж и благовестят, – сказала она. – Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили.

– Я... может быть... не пойду сегодня, – проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. – Я... нездорова, – прибавила она и побледнела как полотно.

– Лучше бы пойти, Наташа; ведь ты же хотела давеча и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб тебе Бог здоровья послал, – уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее.

– Ну да; сходи; а к тому ж и пройдешься, – прибавил старик, тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочери, – мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит.

Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепьяно, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались.

– Прощайте! – чуть слышно проговорила она.

– И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь! На тебя хоть ветер подует; смотри, какая ты бледненькая. Ах! да ведь я и забыла (все-то я забываю!) – ладонку я тебе кончила; молитву зашила в нее, ангел мой; монашенка из Киева научила прошлого года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надень, Наташа. Авось Господь Бог тебе здоровья пошлет. Одна ты у нас.

И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи; на той же ленточке была привешена только что сшитая ладонка.

– Носи на здоровье! – прибавила она, надевая крест и крестя дочь, – когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий, молитву читала, а ты за мной прочитывала. А теперь ты не та стала, и не дает тебе Господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа! Не помогают тебе и молитвы мои материнские! – И старушка заплакала.

Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям; но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко волновалась.

– Папенька! Перекрестите и вы... свою дочь, – проговорила она задышающимся голосом и опустилась перед ним на колени.

Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка.

Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись.

– Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою! – вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. – Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь? Ведь я все вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мне все, Наташа, откройся мне во всем, старику, и мы...

Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову.

– Ничего, ничего, это так... я нездорова... – твердила она, задыхаясь от внутренних, подавленных слез.

– Да благословит же тебя Бог, как я благословляю тебя, дитя мое милое, бесценное дитя! – сказал отец. – Да пошлет Он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. Помолись Богу, друг мой, чтоб грешная молитва моя дошла до Него.

– И мое, и мое благословение над тобою! – прибавила старушка, заливаясь слезами.

– Прощайте! – прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе.



Глава VIII

Она шла молча, скоро, потупив голову и не смотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку.

– Душно! – прошептала она, – сердце теснит... душно!

– Воротись, Наташа! – вскричал я в испуге.

– Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла *совсем*, ушла от них и никогда не возвращусь назад? – сказала она, с невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мне. Все это я предчувствовал, еще идя к ним; все это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня; но теперь слова ее поразили меня как громом.

Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить; я соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось это так безобразно, так невозможно!

– Ты винишь меня, Ваня? – сказала она наконец.

– Нет, но... но я не верю; этого быть не может!.. – отвечал я, не помня, что говорю.

– Нет, Ваня, это уж есть! Я ушла от них и не знаю, что с ними будет... не знаю, что будет и со мною!

– Ты к *нему*, Наташа? Да?

– Да, – отвечала она.

– Но это невозможно! – вскричал я в исступлении, – знаешь ли, что это невозможно, Наташа, бедная ты моя! Ведь это безумие. Ведь ты их убьешь и себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?

– Знаю; но что же мне делать, не моя воля, – сказала она, и в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь.

– Воротись, воротись, пока не поздно, – умолял я ее, и тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их в настоящую минуту. – Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом? Обдумала ль ты это? Ведь *его* отец враг твоему; ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег; ведь он его вором назвал. Ведь они тягаются... Да что! Это еще последнее дело, а знаешь ли ты, Наташа... (о Боже, да ведь ты все это знаешь!) знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами, нарочно, сводили тебя с Алешей, когда Алеша гостил у вас в деревне? Подумай, представь себе только, какво страдал тогда твой отец от этой клеветы. Ведь он весь поседел в эти два года, – взгляни на него! А главное: ты ведь это все знаешь, Наташа, Господи Боже мой! Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки! Ведь ты их сокровище, все, что у них осталось на старости. Я уж и говорить об этом не хочу: сама должна знать; припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанною, обиженною этими гордецами, неотомщенной! Теперь же, именно теперь, все это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца, в старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг все, все это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми! Все, кому дело известно, оправдают теперь князя и обвинят тебя и твоего отца. Ну, что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу! Стыд, позор, и от кого же? Через тебя, его дочь, его единственное, бесценное дитя! А мать? Да ведь она не переживет старика... Наташа, Наташа! Что ты делаешь? Воротись! Опомнись!

Она молчала; наконец взглянула на меня как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какую кровью и без моих слов обливаётся теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение и как я мучил, резал ее

моими бесполезными, поздними словами; я все это понимал и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить:

– Да ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, что, *может быть*, не пойдешь из дому... ко всеобщей. Стало быть, ты хотела и остаться; стало быть, не решилась еще совершенно?

Она только горько улыбнулась в ответ. И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что все уже было решено невозвратно. Но я тоже был вне себя.

– Неужели ж ты так его полюбила? – вскричал я, с замиранием сердца смотря на нее и почти сам не понимая, что спрашиваю.

– Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь! Он велел мне прийти, и я здесь, жду его, – проговорила она с той же горькой улыбкой.

– Но послушай, послушай только, – начал я опять умолять ее, хватаясь за соломинку, – все это еще можно поправить, еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом! Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все, и свидания, и все... Только из дому-то не уходи!.. Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать; я вам угожу обоим; вот увидите, что угожу... И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь... А то ведь ты совсем себя теперь губишь, совсем! Согласись, Наташа: все пойдет и прекрасно и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите... А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно перестанут ссориться) – тогда...

– Полно, Ваня, оставь, – прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. – Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все прости, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь...

Она заплакала.

– Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время! А я, я... Боже мой, как я перед тобой виновата. Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобой? Ох, лучше б я не знала, не встречала б *его* никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастье, а ты и без того страдаешь! Вот ты три недели не приходил: клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. я знала, отчего ты ушел: ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? А как я ждала тебя, Ваня, уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу, как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая... Ох, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступает!

Она залилась слезами. Да, тяжело ей было!

– Ах, как мне хотелось тебя видеть! – продолжала она, подавив свои слезы. – Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был нездоров, Ваня? Что ж я и не спрошу! Все о себе говорю; ну, как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман, подвигается ли?

– До романов ли, до меня ли теперь, Наташа! Да и что мои дела! Ничего; так себе, да и Бог с ними! А вот что, Наташа: это он сам потребовал, чтоб ты шла к нему?

– Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама... Видишь, голубчик, я тебе все расскажу: ему сватают невесту, богатую и очень знатную; очень знатым людям родня. Отец непременно хочет, чтоб он женился на ней, а отец, ведь ты знаешь, – ужасный интриган; он все пружины в ход пустил: и в десять лет такого случая не нажать. Связи, деньги... А она, говорят,

очень хороша собою; да и образованием и сердцем – всем хороша; уж Алеша увлекается ею. Да к тому же отец и сам его хочет поскорей с плеч долой сбить, чтоб самому жениться, а потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алешу...

– Да разве князь, – прервал я ее с удивлением, – про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверно.

– Знает, все знает.

– Да ему кто сказал?

– Алеша же все и рассказал, недавно. Он мне сам говорил, что все это рассказал отцу.

– Господи! Что ж это у вас происходит! Сам же все и рассказал, да еще в такое время?..

– Не вини его, Ваня, – перебила Наташа, – не смейся над ним! Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день, так же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен, и даже знаешь на какое! Да только до какого-нибудь нового впечатления: тут уж он опять все забудет. *Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем.* Вот он какой!

– Ах, Наташа, да, может быть, это все неправда, только слухи одни. Ну, где ему, такому еще мальчику, жениться!

– Сообщения какие-то у отца особенные, говорю тебе.

– А почему ж ты знаешь, что невеста его так хороша и что он и ею уж увлекается?

– Да ведь он мне сам говорил.

– Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?

– Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его, ты мало с ним был; его надо короче узнать и уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца! Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлекся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решила: *если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит.* Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук! О, Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать и отца! Не уговаривай меня: все решено! Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила... Ах, Ваня! – вскричала она вдруг и вся задрожала, – что, если он в самом деле уж не любит меня! Что, если ты правду про него сейчас говорил (я никогда этого не говорил), что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный! Я вот теперь защищаю его перед тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя... а я, я, низкая, бросила все и хожу по улицам, ищу его... Ох, Ваня!

Этот стон с такою болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгорелась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал: гадкое чувство увлекло меня.

– Наташа, – сказал я, – одного только я не понимаю: как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его, и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь? Что ж это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком! Не понимаю я такой любви.

– Да, люблю, как сумасшедшая, – отвечала она, побледнев, как будто от боли. – Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я ведь и прежде знала и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него – счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня, всё обещания давал; а ведь я ничему не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничем связывать. С ним это лучше: привязи никто не любит, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить от него все, все, только бы он был со мной, только бы я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подле была... Экая низость, Ваня? – спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспаленным взглядом. Одно мгновение мне казалось, будто она в бреду. – Ведь это низость, такие желанья? Что ж? Сама говорю, что низость, а если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и прогонять меня будет. Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться, – а что будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажет – и уйду; свистнет, кликнет меня, как собачку, я и побегу за ним... Муки! Не боюсь я от него никаких мук! Я буду знать, что *от него* страдаю... Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня!

«А отец, а мать?» – подумал я. Она как будто уж и забыла про них.

– Так он и не женится на тебе, Наташа?

– Обещал, все обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихоньку, за городом; да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и венчаются-то, не знает. И какой он муж! Смешно, право. А женится, так несчастлив будет, попрекать начнет... Не хочу я, чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Все ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коль он несчастлив будет от женитьбы, зачем же его несчастным делать?

– Нет, это какой-то чад, Наташа, – сказал я. – Что ж, ты теперь прямо к нему?

– Нет, он обещался сюда прийти, взять меня; мы условились...

И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было.

– И его еще нет! И ты *первая* пришла! – вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара. Лицо ее болезненно исказилось.

– Он, может быть, и совсем не придет, – проговорила она с горькой усмешкой. – Третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, то он поневоле должен отложить свое решение – ехать и обвенчаться со мною; а отец увезет его к невесте. И так просто, так натурально написал, как будто это и совсем ничего... Что, если он и вправду поехал *к ней*, Ваня?

Я не отвечал. Она крепко стиснула мне руку – и глаза ее засверкали.

– Он у *ней*, – проговорила она чуть слышно. – Он надеялся, что я не приду сюда, чтоб поехать к *ней*, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела, вот он и отстает... Ох, Боже! Сумасшедшая я! Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела... Чего ж я жду!

– Вот он! – закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной.



Наташа вздрогнула, вскрикнула, взглядела в приближавшегося Алешу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объ-

тиях. На улице, кроме нас, никого почти не было. Они целовались, смеялись; Наташа смеялась и плакала, все вместе, точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки; она была как иступленная... Алеша заметил меня и тотчас же ко мне подошел.

Глава IX

Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты; я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне: чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь – любовь до забвения самого первого долга, до безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней? Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце.

Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет уж по тому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить, – только один я, может быть, из всех его знавших. Много в нем мне упорно не нравилось, даже изящная его наружность, и, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок; лицо его было продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку; тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность в ответ ему, точно так же, как и он, улыбнуться. Одевался он неизысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою и сам, первый, обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребенок никогда, даже и в шутку, не мог бы солгать, а если б и солгал, то, право, не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем; воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было человека, который бы мог не полюбить его; он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду: он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чьим-нибудь сильным влиянием; но, сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая. Но и в его глазах сияла любовь, и он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение все – и родителей, и прощанье, и подозрения... Она была счастлива.

– Ваня! – вскричала она, – я виновата перед ним и не стою его. Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша. Забудь мои дурные мысли, Ваня. Я заглажу это! – прибавила она, с бесконечною любовью смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у ней руку и, не выпуская ее руки, сказал, обращаясь ко мне:

– Не вините и меня. Как давно хотел я вас обнять, как родного брата; как много она мне про вас говорила! Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и... простите нас, – прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие.

– Да, да, Алеша, – подхватила Наташа, – он наш, он наш брат, он уже простил нас, и без него мы не будем счастливы. Я уже тебе говорила... Ох, жестокие мы дети, Алеша! Но мы будем жить втроем... Ваня! – продолжала она, и губы ее задрожали, – вот ты воротишься теперь к *ним*, домой; у тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного смягчатся надо мной. Расскажи им все, все, *своими* словами из сердца; найди такие слова... Защити меня, спаси; передай им все причины, всё, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я бы, может быть, и не решилась на *это*, если б тебя не случилось сегодня со мною! Ты спасение мое; я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им так передать, что, по крайней мере, этот первый-то ужас смягчишь для них. О Боже мой, Боже!.. Скажи им от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь: они простят, Бог не простит; но что если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Все мое сердце у них! Ах, зачем мы не все счастливы! Зачем, зачем!.. Боже! Что это я такое сделала! – вскричала она вдруг, точно опомнившись, и, вся задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алеша обнял ее и молча крепко прижал к себе. Прошло несколько минут молчания.

– И вы могли потребовать такой жертвы! – сказал я, с упреком смотря на него.

– Не вините меня! – повторил он, – уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны, – только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтоб перенести эту минуту; то же самое и она мне говорила. Вы знаете: всему причиной эта семейная гордость, эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы!.. Но... (я об этом долго размышлял, уверяю вас) все это должно прекратиться. Мы все соединимся опять и тогда уже будем совершенно счастливы, так что даже и старики помирятся, на нас глядя. Почему знать, может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению! Я думаю, что даже и не может быть иначе. Как вы думаете?

– Вы говорите: брак. Когда же вы обвенчаетесь? – спросил я, взглянув на Наташу.

– Завтра или послезавтра; по крайней мере, послезавтра – наверно. Вот видите, я и сам еще нехорошо знаю и, по правде, ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня везти сегодня к невесте (ведь мне сватают невесту: Наташа вам сказывала? да я не хочу). Ну, так я еще и не мог рассчитать всего наверно. Но все-таки мы наверно обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по псковской дороге. Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ, лицейский, очень хороший человек; я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник, а впрочем, наверно не знаю, есть или нет. Надо было заранее справиться, да я не успел... А впрочем, по-настоящему, все это мелочи. Было бы главное-то в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника; как вы думаете? Ведь есть же там соседние села! Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома... Но – это последняя вещь! Была бы решимость, а там все само собою устроится, не правда ли? А покамест, до завтра или хоть до послезавтра, она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не правда ли? Вы к нам придете; я премило устроился. Ко мне будут ходить наши лицейские; я заведу вечера...

Я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее. Она слушала его рассказы с какою-то грустной улыбкой, а вместе с тем как будто и любовалась им, так же как любят милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело.

– Но ваш отец? – спросил я, – твердо ли вы уверены, что он вас простит?

– Непременно; что ж ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала; я даже в этом уверен. Он уж такой; и такой со мной строгий. Пожалуй, еще будет кому-

нибудь жаловаться, употребит, одним словом, отцовскую власть... Но ведь все это несерьезно. Он меня любит без памяти; посердится и простит. Тогда все помирятся, и все мы будем счастливы. Ее отец тоже.

– А если не простит? подумали ль вы об этом?

– Непременно простит, только, может быть, не так скоро. Ну что ж? Я докажу ему, что и у меня есть характер. Он все бранит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет? Ведь сделаться семейным человеком не шутка; тогда уж я буду не мальчик... то есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие... ну, там семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если б вы только знали, сколько она мне говорит хорошего! Я бы сам этого никогда не выдумал, – не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомыслен и почти ни к чему не способен; но, знаете ли, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташе услышать, а вы нам дадите совет. Вот видите: я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба... Но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег... ведь вам же платят!

Я не мог не усмехнуться.

– Вы смеетесь, – сказал он, улыбаясь вслед за мною. – Нет, послушайте, – прибавил он с непостижимым простодушием, – вы не смотрите на меня, что я такой кажусь; право, у меня чрезвычайно много наблюдательности; вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь... А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни; так мне и Наташа говорит; это, впрочем, мне и все говорят; какой же я буду писатель? Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня: ведь это для нее же вы сделаете, а вы ее любите. Я вам правду скажу: я не стою ее; я это чувствую; мне это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня так полюбила? А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затеваем! Господи! Неужели ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно неостанет умения и твердости исполнить свой долг? Помогайте нам хоть вы, друг наш! вы один только друг у нас и остались. А ведь я что понимаю один-то! Простите, что я на вас так рассчитываю; я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте уверены, и буду достоин вас обоих.

Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе, прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг!

– Она мне поможет исправиться, – продолжал он. – Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман (я, по правде, еще и давеча подумал, что роман глупость, а теперь только так про него рассказал, чтоб выслушать ваше решение), – если не удастся роман, то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц; к чему они? Я продам их, и мы, знаете, сколько времени проживем на это! Наконец, в самом крайнем случае я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад; он все гонит меня служить, а я все отговариваюсь нездоровьем. (Я, впрочем, куда-то уж записан.) А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня и что я действительно начал служить, – обрадуется и простит меня...

– Но, Алексей Петрович, подумали ль вы, какая история выйдет теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме?

И я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен.

– Да, да, вы правы, это ужасно! – отвечал он, – я уже думал об этом и душевно страдал... Но что же делать? Вы правы: хотя только бы ее-то родители нас простили! А как я их люблю обоих, если б вы знали! Ведь они мне все равно что родные, и вот чем я им плачу!.. Ох, уж эти ссоры, эти процессы! Вы не поверите, как это нам теперь неприятно! И за что они ссорятся! Все мы так друг друга любим, а ссоримся! Помирились бы, да и дело с концом! Право, я бы так поступил на их месте... Страшно мне от ваших слов. Наташа, это ужас, что мы с тобой затеваем! Я это и прежде говорил... Ты сама настаиваешь... Но послушайте, Иван Петрович, может быть, все это уладится к лучшему; как вы думаете? Ведь помирятся же они наконец! Мы их помирим. Это так, это непременно; они не устоят против нашей любви... Пусть они нас проклинают, а мы их все-таки будем любить; они и не устоят. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика! Он ведь это так только смотрит исподлобья, а ведь в других случаях он прерассудительный. Если б вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня! А я вот сегодня же против него иду; это мне очень грустно. А все из-за этих негодных предрассудков! Просто – сумасшествие! Ну что, если б он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же все бы нам позволил. – Говоря это, Алеша нежно и страстно взглянул на Наташу.

– Я тысячу раз с наслаждением воображал себе, – продолжал он свою болтовню, – как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки! Отец убежден, что она просто какая-то интригантка. Моя обязанность восстановить ее честь, и я это сделаю! Ах, Наташа! тебя все полюбят, все; нет такого человека, который бы мог тебя не любить, – прибавил он в восторге. – Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа, а уж я... ты ведь знаешь меня! Да и много ль нужно нам для нашего счастья! Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принести нам всем и счастье, и мир, и согласие! Будь благословен этот вечер! Так ли, Наташа? Но что с тобой? Боже мой, что с тобой?

Она была бледна как мертвая. Все время, как разглагольствовал Алеша, она пристально смотрела на него; но взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и бледнее. Мне казалось, что она наконец уж и не слушала, а была в каком-то забытии. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг – бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние; я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил и меня; я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать, даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга; он тер ей виски, целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алеша; он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа, как безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Все мое счастье погубило в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал... Медленно пошел я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним? Мысли мои мертвели, ноги подкашивались...

И вот вся история моего счастья; так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.

Глава X

Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру на одно мгновение проглянуло солнце, и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось.

Все это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечной наволочке; все это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова...

Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я наконец погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет Божий, дохнув запахом свежих полей и лесов; а я так давно не видал их!.. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилося в последние годы; все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, – решил я наконец, – чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». Была же жажда жизни и вера в нее!.. Но, помню, я тогда же засмеялся. «Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать?..»

Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей; она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорей из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.

По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она все более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита: он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня.

Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь в моей болезни по ночам и которое я называю *мистическим ужасом*. Это – самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостижимого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения.

Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату; потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколтышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? – дверь действительно отворилась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время.

Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходящим до столбняка; наконец тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были не приглажены и включены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.

– Где дедушка? – спросила она наконец едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло.

Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита; неожиданно проявлялись следы его.

– Твой дедушка? да ведь он уже умер! – сказал я вдруг, совершенно не подготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготавлился какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтоб она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мною свое волнение.

– Прости, прости меня, девочка! Прости, дитя мое! – говорил я – я так вдруг объявил тебе, а может быть, это еще и не то... беденькая!.. Кого ты ищешь? старика, который тут жил?

– Да, – прошептала она с усилием и с беспокойством смотря на меня.

– Его фамилия была Смит? Да?

– Д-да!

– Так он... ну да, так это он и умер... Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера; он умер вдруг, скоропостижно... Так ты его внучка?

Девочка не отвечала на мои скорые и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуоборотившись ко мне, спросила:

– Азорка тоже умер?

– Да, и Азорка тоже умер, – отвечал я, и мне показался странным ее вопрос: точно и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь.

Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти! Она так тихо вышла, что я не слышал, как отворила она другую дверь на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но все было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять все стало тихо.



Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры, с пятого этажа до четвертого, шла винтом; с четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда

темная лестница, из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками; девочка была тут, в самом углу, и, оборотившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала.

– Послушай, чего ж ты боишься? – начал я. – Я так испугал тебя; я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе; это были последние его слова... У меня и книги остались; верно, твои. Как тебя зовут? где ты живешь? Он говорил, что в Шестой линии...

Но я не закончил. Она вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились... Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны: она исчезла. «Вероятно, где-нибудь спряталась от меня, – подумал я, – когда еще сходила с лестницы».

Глава XI

Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению, я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший наконец друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» – подумал я про себя. Спрашивать его было излишне; он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление.

Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю не бритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него.

– Ну что, Ваня, что? – заговорил он. – Куда шел? А я вот, брат, вышел; дела. Здоров ли?

– Вы-то здоровы ли? – отвечал я, – так еще недавно были больны, а выходите.

Старик не отвечал, как будто не расслушал меня.

– Как здоровье Анны Андреевны?

– Здорова, здорова... Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то... о тебе поминала: зачем не приходишь. Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня? Аль нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь? – спросил он вдруг, как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечай я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе.

– Ну вот и хорошо, – сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом, – это хорошо... – и вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая.

– Да, это хорошо! – машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. – Гм... видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном; Бог не благословил нас с Анной Андреевной... сыном... и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже... да! и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя Бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя... да!

Голос его задрожал; он переждал с минуту.

– Да... ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был?

Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел и что за всеми этими хлопотами к ним, на Васильевский (они жили тогда на Васильевском), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал.

История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц,

он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.

– Гм... это все твоя литература, Ваня! – вскричал он почти со злобою, – довела до чердака, доведет и до кладбища! говорил я тебе тогда, предрекал!.. А что Б., все еще критику пишет?

– Да ведь он уже умер в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.

– Умер, гм... умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была... И на что эти люди женятся!

– Нет, ничего не оставил, – отвечал я.

– Ну, так и есть! – вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. – Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мне его все расхваливал. Легко сказать: ничего не оставил! Гм... славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же все предугадал, Ваня; хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер Б.? Да и как не умереть! И житье хорошо и... место хорошее, смотри!

И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.

– Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои! Только и умеют, что сирот размножать! Гм... да и умирать-то, я думаю, ему было весело!.. Э-э-эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь!.. Что ты, девочка? – спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню.

Это была маленькая худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отребья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холода тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней оборотился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.

– Что, что тебе, девочка? – вскричал он. – Что? просишь? да? Вот, вот тебе... возьми, вот!

И он, суется и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему показалось мало; он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку – все, что там было, – положил деньги в руку маленькой нищей.

– Христос тебя да сохранил, маленькая... дитя ты мое! Ангел Божий да будет с тобой!

И он несколько раз дрожавшею рукою перекрестил бедняжку; но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее.

– Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу, – начал он после довольно продолжительного сердитого молчания, – как эти маленькие невинные создания дрогнут от холоду на улице... из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больна, старуха-то; и... гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, на свете... не княжеских детей! гм!

Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то.

– Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, – начал он, немного путаясь и сбиваясь, – обещал ей... то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять... так, какую-нибудь; бедную то есть и маленькую, в дом, совсем; понимаешь? А то скучно нам, старикам, одним-то, гм... только, видишь: Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней, этак, знаешь, не от меня, а как бы с своей стороны... урезонь ее... понимаешь? Я давно тебя собирался об этом попросить... чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому... ну, да что о пустяках толковать! Мне что девочка? и не нужна; так, для утехи... чтоб голос чей-нибудь детский слышать... а впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю; ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но все это вздор! Знаешь, Ваня, этак мы долго не дойдем: возьмем-ка извозчика; идти далеко, а Анна Андреевна нас заждалась...

Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.

Глава XII

Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше; только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев с своей Анной Андреевной, даже смолоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она, в свою очередь, была с ним, по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу; они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они, даже на два часа, не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмелилась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяти.

Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самую малейшею подробностью, расспрашивала с судорожным любопытством, «отводила душу» на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выразить желание увидеться с дочерью и почти всегда после наших разговоров, когда, бывало, уже все у меня выпросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала *намекать*, хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что не умеем прощать обид и что Бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно чрезвычайно неловко и громко, заговаривал о другом, или, наконец, уходил *к себе*, оставляя нас одних и давая, таким образом, Анне Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало, только что успеет со мною поздороваться, чтоб дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь.

– Я промок, – сказал он ей, только что ступив в комнату, – пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой; расскажи-ка ей. А я сейчас и ворочусь...

И он поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной, и с Анной Андреевной, даже придиричив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость.

– Вот он какой, – сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли, – всегда-то он такой со мной; а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виды-то на себя напускать! Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог, даже, может быть, и желает простить, Господь его

знает. По ночам плачет, сама слышала! А наружу крепится. Гордость его обуяла... Батюшка, Иван Петрович, рассказывай поскорее: куда он ходил?

– Николай Сергеич? Не знаю; я у вас хотел спросить.

– А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя; ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею спрашивать. Господи Боже, ведь так и обомлела и за него, и за нее. Ну как, думаю, к ней пошел; уж не простить ли решился? Ведь он все узнал, все последние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела Божия, ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то Наташу?

Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв и что это серьезнее, чем прежние их несогласия; что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в девять часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним; завел же меня сам Николай Сергеич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое; что отец Алеша, который недели две как воротился из отъезда, и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу; но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты и, слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении; пишет она, что сегодня вечером все решится, а что? – неизвестно; странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час определила: девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.

– Иди, иди, батюшка, непременно иди, – захопотала старушка, – вот только он выйдет, ты чайку выпей... Ах, самовар-то не несут! Матрена! Что ж ты самовар! Разбойница, а не девка... Ну, так чайку-то выпьешь, найди предлог благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мне и все расскажи; да пораньше забеги. Господи! Уж не вышло ли еще какой беды! Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего! Ведь Николай-то Сергеич все уж узнал, сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает... ну, да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой, Николай-то. Я было то да се, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало, говорит: денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку (щелка такая есть в дверях; он и не знает про нее), а он-то, голубчик, на коленях перед киотом Богу молится. Как увидела я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил и не спал, взял шапку и пошел. В пятом вышел. Я и спросить не посмела: закричал бы он на меня. Часто он кричать начал, все больше на Матрену, а то и на меня; а как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее, покажи-ка!

Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговаривалась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможность этого брака.

Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминание о своем Алеше. Это

было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным.

– Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это говорила, – начала опять Анна Андреевна. – И воспитывать его не умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее за такую любовь, Господи Боже мой! Что с ней будет, с бедняжкой! И что он в новой-то нашел, удивляюсь!

– Я слышал, Анна Андреевна, – возразил я, – что эта невеста очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее то же говорила...

– А ты не верь! – перебила старушка. – Что за очаровательная? Для вас, шелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благодарству души делает. Не умеет она удержать его, все ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял! Злодеи жестокосердые! А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла б ее, посмотрела б на нее! Похудела она?

– Похудела, Анна Андреевна.

– Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь да весь день сегодня проплакала... да что! После расскажу! Сколько раз я заикалась говорить ему издали, чтоб простил-то; прямо-то не смею, так издали, ловким этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает: рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем! Проклятия-то я еще от него не слыхала... так вот и боюсь, чтоб проклятия не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и Бог покарает. Так и живу, каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно; кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от всех у нас видел: тоже выдумал, очаровательная! А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. (Я ведь согрешила, да ее раз на кофей и позвала, когда мой на все утро по делам уезжал.) Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его: что он на ней не женится, а тот все отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то – она за границу: всё итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела; там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь, меж тем росла да росла. Графиня-то, мачеха-то, все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и два миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней три миллиона; князь-то и смекнул: вот бы Алешу женить! (не промах! своего не пропустит). Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен; три миллиона не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками и ногами: без правил, говорят, женщина, буянка такая! Ее уже здесь не все, говорят, принимают; не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит: чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа! Князь-то видит, в чем дело, да и говорит: ты, графиня, не беспокойся. Именье-то свое прожила, и долги на тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара: и твоя невинная, и Алеша мой дурачок; мы их и возьмем под начало и будем сообща опекать; тогда и у тебя деньги будут. А то что, говорит, за меня замуж тебе идти? Хитрый человек! Машон! Так полгода тому назад было, графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили, там и согласились. Вот как я слышала. Все это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную, от верного человека сама она слышала. Ну, так вот что тут: денежки, миллионы, а то что – очаровательная!

Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что

отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи, чтоб не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалился им и верил в него, как в оракула.

– Ведь не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! – продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. – А Наташа ему еще лучше была бы партия. Та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик-то мой вчера (я забыла вам рассказать) сундучок свой отпер, кованный, – знаете? – да целый вечер против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный такой сидит. Я чулок вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился, да сам и окликнул меня и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот, разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет; всем известно: жестокосердая, жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался? Правда ли это?

– Глупый слух, – отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своею родословною.

– Всё злодеи жестокосердые! – продолжала Анна Андреевна, – ну, что же она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, а не девка! Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.

Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у ней еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать?

– Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита! Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик, в золото оправленный, так, для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки, в детских летах; восьми лет она тогда была, ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеичем его проезжему живописцу заказывали, да ты забыл, видно, батюшка! Хороший был живописец, купидоном ее изобразил: волосики светленькие такие у ней тогда были, взбитые; в рубашечке кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает, и такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал, да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я, после ужасов-то наших тогдашних, медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидел. Ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтоб ничто и не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть; иной раз поплачу, на него глядя, – все легче станет, а в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую; имена нежные ей прибираю, да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюсь, спрошу что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил; только хватить вчера утром, а медальона и нет, только шнурочек болтается, перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать; искала-искала, искала-искала – нет! Сгинул да пропал! И куда ему сгинуть? Наверно, думаю, в постели обронила; все перерыла – нет! Коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его, а кому найти, кроме *него* али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя; она мне всей душой предана... (Матрена, да ты скоро ли самовар-то?) Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу себе грушу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеич все ласковой да ласковой со мной; на меня глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя: почему он

может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку. Ведь в сердцах он на это способен; выбросил, а сам теперь и грустит – жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой, искать ходила с Матреной – ничего не нашла. Как в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, не предвещает добра; другой день, глаз не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела Божия, хоть душу отвести...

И старушка горько заплакала.

– Ах, да, и забыла вам сообщить! – заговорила она вдруг, обрадовавшись, что вспомнила, – слышали вы от него что-нибудь про сиротку?

– Слышал, Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?

– И не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи, никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ль, на мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь даже совсем из воспоминания изгнать да к другому детищу привязаться? Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам показался – суровый, сердитый? Тс! Идет! После, батюшка, доскажете, после!.. Завтра-то прийти не забудь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.